

Разлад

Растоптав в снегу валенком измусоленный окурок, дед сел на пень и откинулся на здоровенную поленницу. На небе сквозь тьму ночи ярко светила луна. Заворачивало за тридцать градусов, но дед, укутавшись в овечий тулуп и нахлобучив по самые глаза кроличью ушанку, сшитую ещё в годы его молодости, мороза не ощущал. Он был погружён в думы. Эти думы терзали его день и ночь. Они не давали покоя ни ему самому, ни его старухе, ни даже живущим в городе детям.

– Чёрти знает что в стране творится, а эта дура глаз с телевизора не сводит, ведь верит каждому слову, – ворчал дед, сжимая кулаки в карманах тулупа. – Ну, ведь дурной козе понятно: колхоз разворовали, больницу и школу закрыли, цены растут, а она всё твердит – хорошо живём, хорошо живём, лишь бы не было войны.

Дед злобно плюнул в сторону и полез за очередной папиросой.

– Вот и папиросы раньше были лучше, «Прима» и «Беломор» крепкие были, нюшто самосад, а сейчас травы-соломы в бумажки накрутили да назвали по-красивому, всё по-иностранному, а курить нельзя, тьфу.

Тяжело выдохнув из себя клубы дыма, дед снова поднял глаза к небу и продолжил бурчание.

– Вот в ранешнее время неужто б я тут один сидел? Да у нас народу в деревне, ой, сколько было, а сейчас остались мы со старухой, Евдокимовых двое, Митрюшиных двое да бабка Марья одна. А раньше одних коров в деревне цельное стадо было. И мороз или не мороз, а все друг ко дружке в гости бегали, чай пили, да стопку-другую намахнуть. Или подсобить чем старались. А нынче помощи ни от кого не допросишься. Хоть проси, хоть плачь, все в телевизоры уткнулись да сидят как сычи, плятятся на наряды Алки Пугачихи. Поговорить по душам не с кем.

Мороз заворачивал ещё сильнее, и дед пошёл в дом, где было жарко от только что натопленной печи.

– Наконец-то выключила свой матюгальник... – гневно обратился дед к своей старухе.

Матюгальником он называл телевизор и зачастую уходил по вечерам из дома, когда его престарелая супруга включала на всю катушку новости или очередное сенсационное ток-шоу.

– Давно уж выключила. Какие ты там яйца всё высиживаешь на такой лютой стуже? – ехидно спросила бабка.

Дед лёг в тёплую кровать и молча уткнулся в потолок. Тикающие в кромешной тишине часы показывали без четверти час.

– Сегодня американцы в Украину новое оружие завезли, говорят, война будет. Надо бы сахару купить да спичек с солью. Авось чего случится, – начала бубнить старуха, лёжа на русской печи.

– На кой тебе сахар, дурная ты голова? У нас мёда, варенья цельное подполье, – вздыхая, хриплым прокуренным голосом ответил ей дед. – А соли у нас три мешка в чулане. Ты ещё в тот кризис сдуру купила втридорога этой соли. Нам её вовек не съесть. Только денег потратила. Будто мы, кроме соли, ничего не едим.

Старухе ответить было нечего, а очень хотелось доказать свою правоту. Но она знала – начнётся спор, и он снова обзовёт её злыми, обидными словами.

Они прожили вместе шестьдесят лет. Жили в любви и согласии. Он всю жизнь работал шофёром в родном колхозе, она – дояркой. Жили пусть и небогато, но в достатке. Вырастили троих детей, народилось у них пятеро внуков. Всё бы дому мир, хлеб да счастье.

Бабка лежала и вспоминала, как он, девятнадцатилетний учащийся сельхозтехникума, бегал за ней, шестнадцатилетней школьницей, на зависть всем девчонкам из класса. Он катал её на лошади, дарил полевые ромашки и качал на качелях, привязанных к старому дубу. Она стеснялась своих шитых-перешитых сандалек и ободранного платища. Времена были голодные, послевоенные. Потом они поженились и переехали сюда, за три километра от райцентра. Целыми днями зимой и летом они работали и нигде дальше Москвы не бывали. Да и не было нужды где-то бывать. Жизнь в деревне кипела. И все всегда были вместе – он, она, двое сыновей и дочка. Потом дети разъехались учиться по городам, насоздавали там своих семей и в родную деревню уже не вернулись. Грянула перестройка, потом девяностые. Всё шло своим чередом. Вышли на пенсию. Всё было как у людей. Но в последние годы дед обозлился и стал будто змей. Бабка лежала и не понимала, отчего дед так невзлюбил её. И от мыслей о личном перешла к мыслям глобальным. В городах бушевал коронавирус. В мире буйствовала Америка, и старуха начинала переживать – как бы не было войны. Одно её утешало – Россия встает с колен, и пусть у них в деревне всё, что можно, закрыли – колхоз, школу, медпункт, – она всё же считала, что Бога гневить нечем.

Тем временем дед, подложив под голову руки, всё не мог успокоиться и гонял в голове прошлое с настоящим:

«Она пусть и доярка, простая баба, но всё же книжки читала, не совсем пустобрёхая была. А как подарили нам дети этот новый телевизор с тарелкой на крыше, дык старуху будто подменили. Мы этот ламповый чёрно-белый “Рекорд” включали трижды в год и жили счастливо и во взаимопонимании. Старуха по дому с утра все дела успевала сделать, за здоровьем следила, в гости ходила. Теперь жизнь изменилась. Включит этот матюгальник и сидит перед ним, варежку разинув. Однажды про коронавирус придумали сказку по телевизору трюнькать, так она сто штук масок нашла и от меня в баню жить ушла. Шарахалась от меня, ближе трёх метров ко мне не подходила. Ну, не дура ли есть? Слава богу, одумалась, вернулась. Теперь у неё на уме война. Живём от границ в глухих лесах, а ей всё дуре снится, будто сейчас к ней придут американцы последнюю картошину отнимать. Раньше хоть с бабкой поговорить можно было. О жизни, о детях и внуках, вспомнить былое. А сейчас у неё что ни тема, то всё про одно. Пятьдесят лет безвылазно в деревне коровам сиськи дёргала, а теперь она про политику рассуждает».

Дед перевернулся на правый бок в сторону окна и снова уставился на луну. С печки раздавался тихий храп его старухи.

ТИШКА

Мне было лет пять или шесть, ещё до школы, в начале девяностых годов, как к нам в деревню из города приехали жить два пенсионера – бабка Вера и дядька Лёша. Они купили дом аккурат напротив нас – низенький, в два оконца на лицо, но с огромным огородом, который они в силу возраста обрабатывать отказались. Каждый день они ходили гулять, то в лес, то на речку, и лишь изредка выбирались в райцентр за продуктами. Жили они тихо и почти незаметно. К нам в гости они не ходили, только дважды в неделю заходили за молоком. Мы тогда держали большое хозяйство, но при этом жили небогато, и бабка Вера мне зачастую тихонько подсовывала подарки – то шоколадину, то тетрадку или даже небольшую денежку. Своих детей у стариков не было.

Возможно, прошло года три, как они жили в нашей деревне, и однажды поздним зимним вечером, только мы выключили телевизор и легли спать, в оконце постучали. Пришла бабка Вера и тихо сказала – Алексей Иванович умер.

Мы, как могли, помогли ей с похоронами.

Бабка Вера тяжело переживала смерть мужа, болела, перестала лишней раз выходить из дома. Мы почти каждый день стали навещать её, и она всякий раз рассказывала, как прожили они вместе с дядькой Лёшей 52 года, как много лет работали в тяжёлом цеху на заводе и как, выйдя на пенсию, решили оставить племяннице квартиру, чтобы уехать в деревню, жить на природе.

Наступила весна. Бабка Вера уже по привычке жила одна, стала приходить в себя, и вдруг однажды она позвала меня к себе в дом и показала ползающего в коробке серенького щеночка. Я не очень-то любил собак, но, только увидев этого щенка, моё сердце ёкнуло, и я в него безумно влюбился.

Спустя годы, до сих пор помню, как я сидел на полу, гладил щеночка одним пальцем, а бабка Вера мило смотрела то на щенка, то на меня, и впервые за долгое время скромно расплывалась в своей беззубой улыбке.

– У нас с дедом Лёшей никогда ни кошек, ни собак не было. И детей вот тоже не получилось. А понимаешь ли, тяжело одной. Я этого серенького подобрала сегодня в райцентре за рынком на помойке. Да и как не подобрать, ты посмотри, какой он хорошенький.

Я, не спуская со щеночка глаз, боялся даже дышать в его сторону.

– А что он ест? Он же есть, наверное, хочет? – чуть не заревел я.

– Я молока ему разогрела, а он не умеет из миски пить, ему с соски давать надо, а у меня её нет, но я завтра куплю, – виновато, почти шёпотом сказала бабка Вера.

Я опрометью помчался домой и изо рта спящей пятимесячной сестрёнки выхватил соску.

Оказалось, что щенку всего несколько дней. Я совал ему в рот соску, усердно выдавливал тёплое молоко и переживал, чтобы он не умер.

Больше недели мы не могли придумать с бабой Верой для найдёныша имя. Она смеялась и хотела за его рыжие уши назвать Чубайсом, а я возмущался и настаивал назвать Тишкой, потому что сидел он всегда тихо, почти не пищал, да и мы, когда склонялись над ним, сидели тихо как мыши. Так имя Тишка, Тиша, Тишенька прижилось к нашему щенку.

Мы с ней очень долго, почти до самого лета, выхаживали Тишку – грели молоко, готовили ему еду. Потом уже, когда стало тепло, мы выпускали его из коробки на землю. Тишка, видимо, из-за того что его выбросили новорождённым, не сосал мамку и не был ею облизан, оказался щенком слабым, болезненным. Но мы, как могли, ухаживали за ним. Я сразу после школы, не заходя домой, бежал в дом бабы Веры, проверял Тишку, потом учил уроки, помогал маме по хозяйству и потом весь вечер проводил у бабки Веры дома. Я играл с Тишкой как с котёнком, а она, сидя на диване, мило смотрела на нас и улыбалась.

За лето Тишка значительно вырос, но оказалось, что он был из каких-то мелких пород, ростом сантиметров тридцать, не больше. С появлением Тишки бабка Вера очень изменилась, стала ещё более заботливой и даже поправилась здоровьем. За пёсиком она ухаживала как за живым человеком – отдельно готовила ему еду, расчёсывала, читала множество книг об уходе за собаками и по их лечению.

Прошёл год, второй, третий, пятый. Всё это время Тишка жил в доме бабки Веры, но по утрам он прибежал к моему крыльцу, ждал, когда я выйду, и провожал до школы – целых три километра пешком. А потом к двум часам дня снова прибежал в школу, и мы шли с ним домой. По весенней распутице или по зимней стуже, он всегда сопровождал меня. Летом я уходил с Тишкой по утрам ловить рыбу, отводить коров на поле. Так прошло девять счастливых лет.

Школа в соседней деревне была девятилетней, и, чтобы учиться дальше, мне нужно было уезжать в город поступать в техникум или учиться в райцентре до 11-го класса и жить там же в интернате. На семейном совете было решено отправить меня в город.

Когда утром нужно было уходить на пароход, уезжать в город, я долго сидел на крыльце у бабки Веры, держал на руках Тишку и плакал.

– Возьми его с собой, раз не хочешь расставаться, – тоже плача, говорила бабка Вера.

– Да куда же я с ним? Тишка, он же ваш. Берегите себя. Мама будет к вам каждый день ходить. И я буду звонить всё время.

Когда «Метеор» отходил от пристани, я стоял на прогулочной палубе и рыдал. А Тишка, высунув язык, бегал по прогнившим доскам причала и не сводил с меня глаз, видимо, не понимая, почему я его бросил.

Учёба в аграрном техникуме поглотила меня с головой. Целыми днями я читал книжки по ветеринарии и экономике сельского хозяйства. Особой дружбы я ни с кем не водил, лишь иногда ходил поболтать к одному приятелю, с которым вместе учились ещё в школе, он жил в соседнем корпусе общежития.

Незадолго до новогодних каникул, когда я уже собирался поехать на побывку домой, мне позволила мама и сказала, что бабка Вера совсем плохая, уж неделю не может встать с кровати, а Тишка не отходит от неё ни на шаг, даже миски с его кормом пришлось принести к бабкиной кровати.

На несколько дней раньше запланированного срока я помчался домой. Тишка и вправду сидел на стуле у кровати бабки Веры и не сводил с неё глаз. Он смотрел на неё жалкими промокшими глазами и тихонечко скулил. А бабка Вера слабой одрябшей рукой пыталась погладить ему голову и потрогать кожаный нос. Было видно, что они оба заметно исхудали. Это было берущее за сердце зрелище: умирающая, иссохшая старушка и её пёс – последняя и единственная отрада в её бездетной жизни.

Когда после Рождества я уезжал обратно в город, было очевидно, что больше бабку Веру живой я не увижу. Тишка провожал меня всего лишь до крыльца. Он не мог даже на миг оставить её одну. Я в своём сердце чувствовал большую боль души этой маленькой собачки, которая пыталась выполнять роль ребёнка, заботящегося о своём больном родителе.

В феврале бабка Вера умерла.

Конечно, мне ли, шестнадцатилетнему парню, горевать о какой-то бабке и её собаке? – задастся вопросом обыватель. Да не всякому понять ту боль, которую испытывает человек, потерявший в своей жизни единственного родного человека, но приобретший взамен верного и любящего пса. Пса, который тебя переживёт и несомненно испытает убивающую боль о твоём уходе.

Приехать домой я смог лишь после экзаменов, в конце мая. Где был Тишка, куда он пропал, никто не знал. Мама рассказывала, что на похоронах Тишка бегал вокруг могилы и пытался в неё прыгнуть, но копари отталкивали его лопатами. С кладбища Тишку увезли на руках и поселили у нас в доме. Отец даже сколотил для него специальную будку с тёплой обивкой внутри. Но Тишка жить у нас категорически отказывался и до тёплых майских дней крутился в доме бабки Веры. А потом исчез. Не дождавшись меня из города.

Я половину лета ходил по соседним деревням и искал Тишку, спрашивал у людей, показывал его фотографию. Я обошёл все дворы районного центра. Тишки нигде не было. Когда бабку Веру закопали, он, может быть, подумал, что она вернётся, поэтому он ждал её дома, но домой она, естественно, не пришла, и он убежал её искать. Теперь он её где-то ищет. Бегает, несчастный, и ищет. Такова была моя версия.

Наступил август.

В один из дней мы всей семьёй поехали на кладбище в Носовскую рощу. От нашей деревни ехать туда пятьдесят километров. Мне и в голову не могло прийти искать Тишку в этой дали от дома.

Но едва мы у церкви вышли из машины, как гляжу, – сломя голову, оттопырив назад уши и вывалив наружу язык, бежит мой Тишка.

Я упал перед ним на колени и заревел.

– Тишка, Тишенька, Боженьки ты мой. Ведь я искал тебя, всё лето искал тебя, дурня, а ты вона где.

Я сидел на земле, а Тишка, встав на задние лапы, облизывал мне лицо. Было видно, что он тоже плачет.

Когда я встал с земли, он подпрыгивал метра на полтора, почти до самой моей головы, и вилял хвостом.

Тишка был грязным и исхудавшим. Я тут же вывалил из багажника всю нашу взятую с собой на кладбище закуску – бутерброды, котлеты, пироги. Он жадно и быстро ел, а обоими глазами, даже не моргая, смотрел на меня.

А я продолжал вытирать слёзы.

– Это, что ли, ваша собачка? – спросила какая-то женщина, выходящая из церкви.

– Его это Тишка. Его, – ответила моя мама, вытирая платком слёзы.

– А я тут в церкви работаю. И давно ещё, поди што с конца весны, пёсика заметила. Он там на одной могилке живёт. Он ту могилку всю лапами разрыл. Усердно так копает. Раскопал так, что, того и гляди, крест уж упадёт. Я там лопатой подзакопала, а он опять нарыл.

Всем было понятно – это могилка нашей бабушки Веры.

От церкви мы пошли по могилкам нашей родни. Тишка не отступал от меня ни на шаг. Он бежал рядом и не видел дороги, взгляд его был устремлён вверх на меня.

Вся могилка бабки Веры и дядьки Лёши была ископана Тишкиными лапками. Причём больше всего с той стороны холма, где лежала бабка Вера. Отец подправил крест, мама уложила цветы, а я, сидя на корточках, гладил Тишку. Он жалобно, с поднятыми вверх ушами, смотрел то на меня, то на могилку и то и дело облизывал мне лицо.

– Ты его не заставляй сейчас поехать с нами. Может, он здесь захочет остаться. Пусть он сам решит, – подсев рядом на корточки, сказал отец.

– Я не хочу его тут оставлять. Скоро осень, потом зима. Тишка тут погибнет. Ведь он уже немолодой пёс, ему почти десять лет, – ответил я, но, понимая, если Тишка захочет тут остаться, он всё равно от нас убежит, и эти пятьдесят километров для него не станут помехой.

Когда мы уходили с могилки, Тишка метался, – он то подбегал к могиле, то добежал до нас. Когда мы сели в машину, он долго стоял рядом, смотрел в сторону могил, но потом резко прыгнул в машину ко мне на колени.

– Тишка, родной мой, больше я тебя нигде одного не оставлю, – заливаясь слезами, сказал я.

ОДНА

К обеду мне нужно было успеть в Москву, а впереди триста километров запорошённой снегом дороги. Деревни вокруг ещё спали, но кое-где из-за завернувшего под тридцать градусов мороза уже топили печки. Машину вело из стороны в сторону, перед фарами без конца вьюжил снег. И вдруг перед поворотом в одну из деревень гляжу, в сугробе сидит женщина, а рядом брошенные санки с котомкой. Проехав мимо неё метров пятнадцать, я остановился, посмотрел на неё и сдал назад. Это оказалась бабушка, на вид лет семидесяти, тепло укутанная в шубу и в валенках. Она сидела в сугробе, и было видно, как ей тяжело.

Я усадил её в машину, бросил в багажник санки с двумя мешками каких-то тряпок, налил из термоса чай и включил посильнее в машине печку.

– Бабуль, куда ж вы на таком морозе да в такое раннее время?

– В областной центр мне надо, – скромно ответила бабуля, отхлёбывая из кружки горячий, как кипяток, чай.

Я аккуратнo, чтобы чай не расплескался, тронулся с места. Нам с ней было не по пути, но я решил подвезти её до железнодорожной станции. Не велик крюк десять километров. Кроме меня, её вряд ли кто захватит. Время раннее, место глухое, до рассвета ещё долго.

Было видно, как старушке крайне неловко. Она скромно смотрела то на меня, то на дорогу и, держа обеими руками кружку, старалась аккуратнo допить остатки. Какое-то время помолчали.

– А чего в областном центре надо, да с такой неуклюжей поклажей?

– Да как сказать тебе, милоч.

Бабушка тяжело вздохнула, допила чай и поправила под платком волосы.

– Осталась я одна в деревне. А через месяц мне будет восемьдесят пять лет. Вот и думай, как одной жить в таком возрасте. Ладно бы хоть соседи были, помогли бы присмотреть за мной. А я одна. Сотовый телефон в деревне не ловит, надо на горушку идти. А до неё километр. Всё поле до горушки замело снегом выше пояса. Вот и живу. Ни людей, ни связи. Ничего нет.

Я посмотрел на старушку и не поверил своим глазам, что она, такая хрупкая и беззащитная, жила одна в глухой деревне, до которой от трассы не меньше десяти километров.

– А как же вы сейчас до дороги шли? – недоумеваю, спросил я.

– Так вот и шла. Ночью из деревни вышла. Часов пять ползла через лес, через поле. К вечеру хочу до области добраться. – Бабка посмотрела на моё удивлённое выражение лица и улыбнулась: – Я очень боялась идти. Думала, если упаду, замёрзну, то не страшно. А вот ещё осенью у нас в деревне егеря были, говорили, будто где-то здесь волк поселился. Вот чего опасалась.

У меня в голове закружился вихрь мыслей. Как могла эта хрупкая бабушка в платочке жить одна в глухой деревне? Как она сейчас всю ночь по такой метели в мороз ползла десять километров по сугробам?

– Где же наши власти? – вдруг резко вырвалось из меня.

– Власти?
– Да, бабуля, власти! Они хоть к вам присылали соцработника или дорогу хоть раз почистили?
– Социального работника я выбивала два года. Просила, хотя бы чтоб раз в неделю мне хлеба привозили. Да никого не дали. Сказали, у этих работников зарплата маленькая. Никто в соцработники не идёт. Поэтому хлеб я зимой сама пеку. Правда, это очень тяжело. Даже воды с колодца принести тяжело, особенно сейчас. Колодец замёрз, я снег топила. А пенсию, чтобы мне не возить, они мне какую-то карточку сделали. Вот последний раз осенью съездила в райцентр в банк. Мне деньги с этой карточки сняли, я на них купила мешок муки, сахару, сгущёнки и мяса. На такси всё это привезла, вот и живу.

Бабка мило улыбнулась и, доставая из-под шубы висящую на шее сумочку, честно призналась – карточка у меня вот тут лежит, в ней денег накопилось, пять месяцев не снимала. Пенсия у меня маленькая, но я довольна. Хоть это дают. А в ранешние времена ничего не давали. Так что не переживай, милый человек, я с тобой за проезд рассчитаюсь. В город заедем, я в банк забегу.

От обиды у меня подступил к горлу комок и захотелось плакать. Ни о какой расплате за проезд не могло быть и мыслей, даже напротив, я сам хотел дать бабульке денег. И вообще, будь у меня денег больше, я бы подобрал всех брошенных стариков, отстроил бы заново все русские деревни, чтобы они, эти коренные и искренние люди, жили достойно в своих родных краях, на тех бескрайних просторах России, где бы они пили живую родниковую воду, дышали родным воздухом и были счастливы. Да, я готов сам всё это сделать, ежели наше государство бросило на произвол судьбы моих соотечественников, моих сограждан. Оно оставило слабых и беззащитных в беде, как это делает нерадивый сын, оставляя свою мать больной одну в холодной избе. Оно, это государство, забыло о том, что они тоже люди и придёт время, когда они состарятся, возможно, также окажутся в холодном и голодном одиночестве.

– А дети ваши где?

– Милый мой, не говори. Им тяжелее моего. Сынок погиб в Афганистане в 1984 году. Отправила его мальчишкой в армию, такого хорошенького. Он у меня с трёх годиков коровушек пас. Помню, идёт по деревне с азбукой и заставляет коров буквы учить. Это, говорит, «му», это «ма». Двадцати годиков ему не было – привезли в цинковом гробу. Даже не вскрыли. Не поцеловала моего родненького на прощание. Ещё две дочки у меня есть. Старшая не знаю в кого пошла. Спилась она. Ей нынче пятьдесят лет. Чудом, что ещё живая от такой жизни. Живёт у нас тут в райцентре. Люди говорят, будто ползает по помойкам, курит, чинарики собирает. Я уже лет пять её не видала. И не пускаю к себе. Боюсь её. Она в последний раз ко мне приехала с друзьями, они меня избили и все сбережения отняли, что я на дрова копила. Ну а младшая дочка в городе живёт, работает врачом в детской больнице. Жалко её. Зарплата у ей маленькая. Детишек двое, муж хороший, но живут на покупной квартире. Им за неё двадцать лет платить. Эту, как её, – епатеку. Правда, видишь как – связь плохая, никак не можем друг до дружки дозвониться. Она, Ленка-то моя, и не знает с декабря месяца, живая я или померла. Как всё снегом замело, так я на горушку и не ходила позвонить.

– А сейчас вы к этой дочке едете?

– Да пошто я ей? Я ей не нужна. Мне там места нету. Она, конечно, меня всё зовёт к себе. Летом пыталась забрать, но я ей в квартире буду обузой. Квартирка-то у них махонькая, а там робятишки. Пусть живут счастливо. К ним я ни ногой. Не хочу мешаться. Поэтому решила я – в дом престарелых еду. Умирать там буду. Хоть, может, в тепле да в сытости умру.

От этих слов меня чуть не убило. На моих глазах проступили слёзы, а бабулька виновато смотрела то на меня, то на дорогу и продолжала сжимать в руках пустую кружку из-под чая.

– Мне же, милоч, не под силу одной в деревне. Дом старый. Крыша худая, всё течёт. Углы в доме продувают. В избе тепло, пока печку топишь. А много дров мне уже не натаскать. Куда мне деться? Только в дом престарелых. Я ещё осенью хотела, а жалко было уезжать. Я в нашей деревне Буянке родилась и всю жизнь прожила, никогда никуда не уезжала. Мне в нашей деревне каждая травинка, каждая яблонька, каждая досочка на всех домах родные и любимые. А мой дом ещё дед строил. В нём моя мать родилась. И я в нём все свои 85 лет прожила. И умерла бы я в родном доме, но видишь – не умирается. Ноне я готовила дом к отъезду, всё убирала, заколачивала и ревела без конца. Думала, что же я непорядочная творю, дом отчий покидаю, бросаю его холодным, одиноким. Сколько мой дом ещё простоит? Ещё, может, лет пять, да начнёт разваливаться, а потом рухнет и сгниёт в земле.

А к тому времени, может, и я в земле сгнию. Только жаль, от родного дома, от деревни моей родной Буянки, наверное, далеко похоронят меня. Из дома престарелых поди-ка и не повезут в родную землю закапывать. Хотела бы лечь в одну могилку к сыну.

Бабулька посмотрела в кружку и тяжело вздохнула. Было件нятно, что ей хочется ещё чаю.

– Может, ещё чайку налить?

– Ой, милый, да с радостью. Я не откажусь. Так хочу пить. Видно, вся пропотела, когда с деревни до трассы ползла.

Уже светало. Мы остановились у какого-то придорожного кафе. Я заказал горячего супа, котлет и чаю с пирожным. Бабулька жадно, но очень стеснительно ела. Было видно, что она давно не ела мясного. А я пил кофе и думал, что с ней делать. Оставлять её на вокзале и отправлять дальше в областной центр было нельзя. В доме престарелых её никто не ждал. Чтобы туда попасть, нужна куча справок, которых у неё нет, да и очередь в этот дом дожития брошенных людей такая, что многие этой своей очереди не дожидаются, умирают одинокими в своих холодных избах.

– Вы в Москве давно не были?

– Давно милый. В тот год, когда Брежнев помер, тогда последний раз и была. Я тогда работала на свиноферме. За выведение новой породы свиней мне дали медальку, премию и отправили в Москву на ВДНХ. Это уж, почитай, сорок лет как не была в Москве. Я за всю жизнь в этой Москве раза три была всего. И больше нигде не бывала. Ну, разве что в области у нас да в райцентре была. Ни на морях не была, ни за границей. Всю жизнь работала. С самого начала жизни, как научилась ходить, так матери по хозяйству и помогала. Отец на фронте погиб. После школы кончила наш районный техникум на зоотехника и так всю жизнь работала. А чего я заработала? Сына в цинковом гробу и пенсию, которую только осенью последний раз видела. Нет, нет, милый. Я не жалею. Хорошо живу. Но плохо мне одной. В доме престарелых лучше будет. Там хоть люди живые есть, есть с кем поговорить и телевизор кажет. А звать-то тебя как?

Тут я опомнился и осознал, что, погружённый в свои душевные переживания об этой бабке, погружённый в злость против власти, бросившей эту несчастную мать героя Афгана, я забыл спросить её имя; как зовут её, этого человека, одного из тех, кто вытягивал на своих плечах страну, страну, которая её вот так нещадно бросила.

– А меня Анна зовут, Анна Поликарповна Смирнова, но зови меня, если что, просто – бабка Аня, – допивая чай с пирожным, пролепетала старушка.

Допив кофе, я набрался мужества и сказал:

– Знаешь ли, бабка Аня, что я решил? Поехали, покажу я тебе современную столицу. Я сейчас туда по делам еду и сразу назад. За эти сорок лет изменилась Москва, не узнать. А потом поедешь к нам домой, это там, рядом с твоей Буянкой, в деревне Ивановке я живу. Жена у меня, хозяйственная, добрая, сыновей у нас двое – им шесть и восемь лет. Дом новый, большой, мансарду достраиваю. Комнат свободных полно. Выделю тебе одну – не жалко. И будет тебе по дому задание – ты же зоотехник? – вот и будешь моих сорванцов учить, как с животными обходиться. А то они развели кроликов, кошек да собак, а как ухаживать за ними, не знают. Согласна?

Бабка непонимающе вытаращила глаза и сказала:

– Да как прикажете.